

Илья СКЛЯРСКИЙ

ДМИТРОВКАТАСОВ

Повесть

I

Катасов опустил пальцы в плавающие в небольшой навесной ванночке обмылки и повозил их друг об друга. Мыло растаяло в мокрой воде, и ему самому было странно и непривычно так растеряться. Катасов умыл руки и прошёлся до комнаты, где залёг под одеяло. «Это хороший образ, – подумал Катасов, – Как будто обломки от корабля, которые разжижаются, как будто агония, в которую я макаю пальцы. Но даже это необязательно, просто мыло такое странное вряд ли кто-то видел». Подумав так, Катасов очень испугался, вскочил, надел тапочки и понёсся снова в уборную. Потом вернулся в комнату, достал из шкафа пакет «Дикси», опять побежал в уборную и обнаружил там около раковины Лизу (туалет был общий). Она как раз макала пальцы в мыло.

- Привет.
- Привет.
- Ты с пакетом?
- Да.
- Понятно.

Катасов стоял на месте и смотрел на белый напольный квадрат-плитку, как бы на неё, на Лизу, но не на неё, давай, иди. Лиза вымыла руки, прошла мимо Катасова, он выждал ещё несколько секунд и стал загребать, кусочки мыла выскользывали, сразу не давались, но всё равно быстро обнаружили себя в пакете в полном составе.

- Всё в порядке? – спросил Коля, сосед Катасова, когда тот вернулся в комнату.
- Конечно.

Понимаете, в чём проблема. Проблема в том, что Катасов был писателем, то есть писал рассказы. Но писателем был не только он, но и все вокруг, все, кто с ним жил, потому что это было наше общежитие, общежитие Литературного института (мда). Страшно, чудовищно, какой-то помноженный мир. Что того хуже, были ещё и поэты, а поэты – это гораздо хуже, особенно в ситуации с таким вот мылом, потому что им его ещё проще приватизировать. Катасов просто надеялся, что он один заметил и что он один подумал, в целом он был довольно наблюдательным, но всё равно теперь трясся. Лиза видела, но Лиза дура, наверное. Кто ещё живёт на нашем этаже? На нашем этаже много живёт. Нет, это бесполезно. Катасов закопался под одеялом и постарался перевести дух: он очень был

Илья Склярский родился в 2003 году. Студент Литературного института им. А.М. Горького (семинар Р.Т. Киреева). Организатор серийных литературно-перформативных вечеров «Литреформа». Публиковался в журналах «Нате», «Формаслов», «журнал на коленке».

перевозбуждён. Только якобы успокоившись, он вылез, достал ноутбук и написал в нём: «Мне надо было помыть руки, и я задумчиво опустил пальцы в плавающие в мыльнице куски мыла. После я их подвигал, и понял: они обломки корабля, в которых плавают утопленники и утопленницы. Но всё-таки людям нужно мыть руки, поэтому судьба распоряжается так». Катасов остановился. Ему стало стыдно. Ведь людям правда нужно мыть руки, а он стащил, украл мыло, теперь им нечем мыть руки, руки теперь будут вонять, да и не он это мыло покупал, мыло покупают какие-то добрые люди, для всех покупают, а он, получается, злой. Катасов встал, оделся, и пошёл в «Дикси» за мылом.

На улице было много света и много солнца. «Дикси» был напротив завода плавленых сырков, настолько величественного, что Катасову всегда было странно, как старшекурсники, воспевавшие общезитие, не воспели заодно и этот завод, и он хотел воспеть сам, но ему было на самом деле всё равно на завод. В «Дикси» было грязно. Катасов всё равно купил там мыло и успокоено возложил его на пьедестал, который хотелось увидеть ладонью античной скульптуры, так сильно Катасову понравилось, что он сделал доброе дело. «Не осмыслий, не чувствуй меня», – было написано на мыле.

– А почему мыло? – спросил у Катасова Коля, который в отсутствии соседа заинтересовался пакетом.

– Так старое же. Поломанное, выкинуть надо. Я новое купил, – Катасов уже не волновался и не пережимался, держал шею гусем, дело сделано, интеллектуальная собственность защищена.

Катасов опять залез под одеяло и пошёл читать ленту. И сразу споткнулся, как пошёл, о стихотворение, свежее:

я как кораблик маленький
из щепочек дети сложили
плыву к тебе и об тебя разобьюсь
на много обломков мыльных
чтоб мог ты помыть свои пальцы
в моих останках

Катасов не мог понять, как случилось такое предательство. Все предпринятые меры по охране благородным прозаиком своего честно выстраданного образа оказались бесполезны. Автор с его этажа, конечно, Нина, у которой даже комната напротив туалета, логично, что у неё был самый короткий и лёгкий путь до озарения. Эти люди не знают жалости. Как падальщики, бросаются на любую кровоточащую рану на полотне, даже если к ней только недавно прикладывался кто-то другой. Катасов снова оделся и пошёл на улицу. «Пойду в какую-нибудь одну далёкую сторону, – решил он, – куда никто не ходит и где расстилаются свежие, не пожаренные пока земли».

Катасов нашёл маленькие дома, точнее один маленький дом, раскопированный на много, и начал искать, какой из них был первородным. Наверное, таким логично было оказаться дому номер один, но так очевидно, поэтому его не было совсем, отсчёт начинался с трёх и скакал через чётную цифру, поэтому Катасов долго ходил от дома к дому, сравнивая благородность. В довершение он постановил, что одним своим сознанием не справляется и ему нужно подкрепление, и тогда он на самом деле оделся и пошёл на улицу проверять.

Катасов мог засвидетельствовать положительное поражение воображения: на самом деле дома не были одинаковыми, даже явно родные были на оконную колонну длиннее один другого. И не менее положительное поражение реальности: дома под номером один действительно не было. Правда, был один и шесть, он же шесть и один, но стало понятно, что «мы с моей семьёй, в которой я был всегда один, хотя нас и было шесть: мама, папа, бабушка, собака, сестра Маша и я, жили в доме с говорящим номером один дробь шесть, и нас разделял этот косой барьер» – это сомнительная экспозиция, а больше ничего отсюда не выжать. На Гончарова один и шесть читаю Гончарова играю в 1.6 Наталья Гончарова ты а я великий классик но что мои труды перед моей же страстью твоим мясом пышным можно кормить зверей а я вызываю к барьеру тех кто оскорбить посмел мою честь и держите меня семеро. Размышляя не вполне так, но всё же обнаруживая сопереживание этим мыслям в связи с увиденным, Катасов дошёл до станции.

– Можно, кстати, отсюда поехать, – произнёс он вслух. Катасов любил говорить сам с собой, это задавало циркуляцию, слово стимулировало мысль, – блин, правда можно так поехать, приехать, – слово не стимулировало мысль, но стягивало её, думать дальше было нельзя, пока не втолкуешь «им», – можно куда-то приехать, где нет никого, – на улице Катасова всё-таки могли услышать, поэтому он только обозначал губами звуки, лишь некоторые овеществляя, – ну то есть не никого, а где не был никто, ну вы короче поняли, – Катасов никогда не пытался разгадать, к кому именно обращается в разговорах с самим собой, и почему их всегда несколько, а «они» и не давали повода, ведь сами всегда молчали, держались своего положения, – никто кто, никто кто помешал бы, – единственным качеством, которым «они» обладали, и благодаря которому хоть как-то обрисовывались, было непонимание с первого раза даже самого прямого, соединённое со способностью благодаря многократным повторениям понять даже самое туманное, – блин, не помешал бы, а писал бы, короче можно куда-то.

Разжёвывая самому себе мысль скоростью в долю секунды на протяжении нескольких кусочных фраз, Катасов походил самому себе на попавшего в сон, язык которого не слушается самого себя. Или не язык – руки, Катасову часто снилось, как его страшно убивали, а он в ответ тыкал убийцу разными такими штуками, карандашами, ручками, или вот резиновый меч, такими вот штуками. Рука слабла и не могла ударить, отекала, Катасов тыкал снова, и это, после многократных повторений и перемен предметов, приносило пробуждение.

На станции Катасов купил льготный билет и проявил себя как человек определённый. У него был выбор: он мог поехать наобум туда, где всё было бы впервые, удивлением от увиденного облегчил бы себя, и довольный тем, что не всё ещё исчерпано и что он теперь узнал способ себе это подтверждать, покатил бы назад до следующего раза. Катасов предпочёл вариант более сердитый: взялся ехать в город Дмитров, в котором уже вполне осознанно бывал. Это накладывало на него более глубокие обязательства и не обещало никаких бездельных успокоений.

В Дмитрове жила его тётя с мужем Тубановым, тётя по маминой линии, тётя Лилия Тубанова. Катасов сейчас подумал, что её имя-фамилия образуют единство плавных звуков и звуков бабахających (ну там какое-то другое название для них было), и что вроде бы и хорошо, раз единство, с другой стороны, сначала-то может и плавно, но потом-то бабах. Этот знак фонетического мира он с благодарностью принял, а заодно вспомнил, как тётя его в Макдональдс водила, в Дмитрове как раз, но тогда и фамилия у неё другая была, что

тоже, видно, не зря. Оттуда Катасов помнил только много людей и столы, и реальность с этим соглашалась. Зачем они, кстати, туда ходили? Может быть, его, на самом деле, держали в заложниках. Или её: учитывая, что подобных жестов балования со стороны тётки Лилии больше никогда не было, элемент скрытого принуждения точно присутствовал. Наверное, она как раз прогнозировала замужество, и захотела предварительно пощупать ребёнка, поэтому арендовала маленького Катасова на один Макдональдс. Потом тётка Лилия родила девочку. Значит, не всё ей тогда понравилось.

Дядя Тубанов казался Катасову более плодоносным. Во-первых потому, что не стерёг свои внутренности, а считал их всеобщим достоянием, которое ему поручено явить на свет, в виду чего, во-вторых, на фоне тётки Лилии создавал впечатление человека густо и сытно чувствующего, что Катасов отметил, когда дядя Тубанов, в-третьих, перевозил на машине его с вещами в общежитие. Катасов допустил самовлюблённую мысль о том, что дядя Тубанов, наверное, только и ждёт, когда же, наконец, в его дом зайвится человек, который не просто всё выслушает, но и вырастит потом из этого что-то своё.

Но Катасов ехал гостем не вполне к тётке и дяде, а больше к Дмитрову. Он считал, что строить своё от людей, конечно, можно, но это такой, более низкий уровень, от которого многого не добьёшься. Какими бы ни были тётка Лилия и дядя Тубанов для него единично ценными, он понимал, что не ценнее они какого угодно ещё человека, а всё то, что можно в них назвать особенным, происходит не от них самих, а впитано ими из чего-то, что неразумно больше, например, из города. По людям можно было пойти, но только чтобы выйти на то, что их такими сделало, и дальше уже научиться самому играть из себя город, играть из себя иную большую силу, тянуть из себя, как паутину, мицелий, совсем похожий на человеческий: что-то такое возбуждал в мыслях Катасов. Он собирался сличить тот Дмитров, который кое-как помнил (здесь раньше жили ещё и бабушка с дедушкой, его возили к ним), с тем, который увидит, и на сличении распознать какое-то лицо.

Вагон был немногочелюден, мало кто ехал, потому что зачем, ведь не очень много уникальных причин для поездки в Дмитров можно придумать, а человеческие дела Катасов особо не признавал. Он мог разве что допустить, что по диагонали, через проход, сидел мужчина, которому надо было на работу. Так было заключено, потому что ему по возрасту полагалось. Катасов учёл день, время, направление, и постановил, что работа у мужчины вольная. Мужчина не смотрит в окно: часто тут ездит, значит, и уже ничего по ходу поезда его не удивит, может, есть у него какой-нибудь любимый столб на пути, или любимый дом на пути, и он поднимет глаза без ошибки в установленное время на него, как тот несётся мимо, увидит, что тот ещё на месте, и поймёт, что сам, значит, тоже ещё на месте, но недолгая радость, глаза снова опустятся в пол, и дальше, до следующей сцепки, ехать как в темноте, жить как в темноте. Даже вольную работу иметь, а от этого не спастись. Катасов великодушно пожалел мужчину, но, конечно, потому что сам боялся ездить одним поездом, оттого и выдумал.

Давайте простим Катасову эти рассуждения. В конце концов, развлекается как умеет, заодно и мы тоже. Но мужчина быстро нашёлся как отомстить за унижения и, как только выстроилась у Катасова последовательность, начал смотреть в окно. Долго смотрел, не отвлекаясь смотрел, и прервался только для того, чтобы встать на пьяного. Последовательность посыпалась, но это ничего, потому что уже состоялась, и, как ей сразу и следовало, от мужчины отделилась.

Вообще, пьяный появился в вагоне раньше. Он не то чтобы что-то такое делал, единственное что был человек вселюбящий, и потому не мог разобраться, какое место и какой сосед ему больше к душе, от того и переваливался туда-сюда. Сперва сажился рядом с девушкой, через два окна от Катасова, которая сбивчиво наговаривала кому-то голосовые, но каждый раз, видя намерение пьяного снова к ней примоститься, бросала: «Сейчас!» и начинала копаться в рюкзаке. Она один за другим доставала оттуда разные предметы, крутила их в руке и заталкивала обратно. В ней пьяного как раз и интересовала эта многокомпонентность, такие странные порой вещи девушка извлекала из рюкзака, что пьяный их даже совсем не понимал, и оттого поражался невероятно. Когда пьяного наконец укачивало это увлекательное мельтешение, он уходил, и девушка начинала новую запись с громкого «Так вот!». Далее пьяный шёл разговаривать со старушкой. Он сажился напротив и говорил: «Ну что, мать, как ты?» Она не сопротивлялась, и в каждый визит пьяного заново рассказывала, что её зовут Анфиса Григорьевна, что ей семьдесят два года, что она едет из Москвы на дачу, а потом прибавляла к этому фиксированному вступлению какой-нибудь, каждый раз новый, факт про свою дачную злободневность. Выслушав Анфису Григорьевну, пьяный разводил руками и отправлялся в последнюю точку своего обхода, участвовать в жизни мужчины с огромной жирной и лысой головой. Этот мужчина сидел на другом конце вагона, и поэтому Катасов совсем не видел, что там происходило, но голову видел. Пьяный сажился наискось от мужчины, задумчиво сидел так пару минут, подавленный уважением к незыблемости мира, после чего ему было необходимо снова посетить девушку, чтобы разнообразить свои впечатления. Спустя несколько обходов пьяный всё-таки понял, что больше всего ему нравится сидеть рядом с ней, и даже остался бы на месте, но не мог просто так бросить Анфису Григорьевну и мужчину с головой, они уже стали ему чем-то вроде родственников, и поэтому он продолжал ходить к ним, но был более не так внимателен, даже не дослушивал теперь до конца старушку, а огромному мужчине в какой-то момент вообще сказал, посидев всего около полминуты: «Ну, я погнал».

Катасов не обращал на пьяного столько внимания, хотя и видел, что он как-то много ходит, но от этого только становилось ещё более мерзко и страшно. Он не любил пьяных и считал, что про них уже довольно. Он не любил даже и выпивающих, не любил потому, что эти люди переставали быть себе хозяевами. Алкоголь был в его взгляде такая же большая сила, как, например, Дмитров сила, но только злая сила, властная. Лелеющий каждую трещину на своей личности, пока ещё гладкой, как слабый мозг, Катасов совсем не хотел её отдавать, не мог представить, чтобы кто-то так просто отдавал, и поэтому его пугали пьяные картины. Он же видел, как люди меняются от алкоголя, как ведут себя иначе, этот в вагоне же не ходил бы так, если бы над собой владел. Значит, это совсем не он ходит, это ходит что-то огромное, что не только его, но и всех жрёт, и из-под глаз друзей Катасова, когда они выпьют, на Катасова всегда смотрит всё одно и то же, и сейчас Катасов то же видел.

Многие его одноклассники ещё и писали, выпивши. Всем сразу становилось проще, что-то подхватывало их и несло само, конечно, это было всё то же. На эту тему Катасов готовил целую исследовательскую работу, он рассчитывал найти единые приметы во всех «пьяных» текстах и таким образом изобличить всех этих, показать, что, пойдя по лёгкому пути, они себя утратили, отдали в чужие руки. Пока ещё ничего такого не нашёл, но видел ясно, как они все потеряются, когда поймут, что всё то вовсе не они писали.

Эти хождения пьяного закончились, когда, как сказано прежде было, мужчина с вольной работой встал на него. Он взял пьяного в руки и, подняв над полом, понёс к выходу, как спортивный снаряд. А когда ссадил, поезд тут же тронулся до следующей станции. Катасов посмотрел в обращённое на перрон окно и увидел, что глаза пьяного ему на этот раз понравились, может и впервые даже. Хоть они и были застланы, но им важно было, как он только что летал.

II

Когда Катасов вышел из Дмитровского вокзала, то впервые сильно испугался за своё предприятие, потому что, пока он ехал, то поезд дребезжал, и вообще движение было, то есть деятельность, не безделие, он делал занятие – ехал, теперь же Катасова разбил озноб, потому что дело от него начало зависеть. Он ещё был в промежуточном состоянии, когда по платформе шёл, потому что ноги уже его, но движение ещё нет, и его несло к турникетам, сосало на мороз. Катасов заранее знал, что там озноб, но на месте остаться, во-первых, было больше делом, потому что смена курса, во-вторых же больше безделием, потому что от страха перед делом. Совместить две эти противоположности в одном своём решении Катасов был не готов, а потому, предсказуемо, шёл, пока не вышел из вокзала.

Катасову нужно было срочно убедить себя в том, что он чего-то уже добился или напал на след, и так всегда было, когда он к чему-нибудь приступал, потому что иначе началась истерика, дело становилось безнадёжным, сам Катасов становился безнадёжным, заниматься ничем больше было не надо, только драться, дрался мальчишески, драться считал не нравственным, дрался внутренне. После очистительного акта самодраки наступала новая стадия, когда можно было на возобновлённой и уже менее буйной тяге снова попытаться взять дело нахрапом. Но это был путь болезненный и грустный, потому что предполагал смиренное принятие того, что сперва-то ничего не получилось.

Катасов даже вспомнил пьяного, но тут же осёкся и сказал: «Не, ну их много, мне не то. Ну их много, которые, и так много». Катасов смотрел и видел башню, в башнях бывают принцессы и вода, всё это, впрочем, ерунда, кто мы друг для друга, я кружок ты угол. Башня там правда есть, там водонапорная башня, которая больше похожа на кукушкин дом. Катасов смотрел на людей и ничего не видел, кроме того что каждый из них всего себя ставил, чтобы Катасова уличить в бессилии.

И тут Катасов заметил человека. Может быть, он его придумал, то есть не вполне он, а его сознание, в обход самого Катасова, чтобы уберечься от краха, придумало. Человек шёл ещё вдалеке, и Катасов увидел, что этот человек внешне выглядел как Баранский. У Катасова было плохое зрение, и поэтому он часто в незнакомых людях узнавал других людей, знакомых. Ещё ему, конечно, хотелось видеть знакомых людей почаще случайно на улице, потому что это событие. А события составляли его жизнь, то есть его писательская память стирала всё, что событием не было, и поэтому Катасов ничего не помнил, кроме событий. Это, конечно, характеристика радикальная, и как будто он сам разозлился на свою память и это сказал, отчасти так оно и есть. Но как-то раз в туалете Катасов не разозлился, а, наоборот, обрадовался своей памяти, потому что понял, что ему было бы неприятно, если бы она хранила в себе каждый его раз в туалете. Подумав так, он, к

сожалению, сам занёс в свою память именно этот раз в туалете как событие мысли, но только именно этот.

Баранский, которого Катасов узнал в проходящем, не был кем-то особенным или близким. Они с Катасовым когда-то ходили в одну театральную студию, и был спектакль, где Катасов был фашистом, а Баранский красноармейским солдатом без ноги. На одной репетиции Баранский так распалился, отстаивая себя на допросе, что плюнул Катасову на лицо. Педагогу понравилось, он сказал, что это гордо, и включил в постановку. Но на другой репетиции Баранский недоплюнул, плюнул снова, мимо, для третьей попытки еле набрал слюну и плюнул на себя. Педагог сокрушался, говорил, что это уже не гордо, а жалко, и что если так случится на спектакле, то это послужит неправильному пониманию персонажа. Тогда договорились, что Баранский плевать будет понарошку, а Катасов хвататься за щеку по-настоящему, и зрители правильно поймут, что произошло, хотя ничего на самом деле не будет. Катасов был этому рад, потому что ему не нравилось ощущать слюну на своём лице.

Когда человек как Баранский, идущий, похоже, на вокзал, приблизился к стоящему на месте Катасову, Катасов понял, что это, кажется, Баранский и есть. От неожиданности Катасову дунуло на внутренности, и он закричал:

– Влад!

Влад остановился. Это был Баранский. Катасов подуспокоился:

– Ты что делаешь в Москве?

– Да мы вроде и не в Москве.

– Ну... тут.

– Иду на вокзал. Привет.

– Привет. Как жизнь?

– Да нормально в целом. Переехал.

– Куда?

– Сюда переехал. Да. А ты тут что делаешь?

– Я приехал... приехал в гости.

– А. Странно.

– Почему странно?

– Ну странно, что сегодня.

– А ты сам куда едешь?

– К девушке еду.

– У тебя есть девушка?

– Есть.

– Она не из Дмитрова?

– Нет.

– Понятно. Ну хорошо, что у тебя девушка есть.

– Да, хорошо.

– Нравится?

– Нравится. Слушай, Катасов, я тебя спросить, кстати, хотел, в связи со всем этим.

– Что такое? – Катасов заметно испугался, потому что что-то теперь выходило, как будто это всё Баранский подстроил, и значит это теперь Катасов у него в событии, а не наоборот, а значит Баранский как бы главный, а Катасов как бы второстепенный и не знает, что ему надо, а Баранский знает.

– Помнишь про «Тучи над полями»? Где ты фашистом был? У меня там ещё ноги не было.

– Помню, – подтвердил Катасов. Он, вроде, начал радоваться, потому что Баранский заплыл в его залив. То есть Катасов же очертил заранее круг, вспомнив этот спектакль, а значит, теперь это он Баранского обуславливал.

– Значит помнишь, как я тебе в лицо плевал. Ты помнишь? Там сцена допроса.

– Я помню.

– Ты помнишь... Шчас немного странно будет, ты помнишь мою слюну на своём лице?

– Ну, – Катасов вытер щеку, – помню.

– Супер. Блин. Как я хорошо тебя встретил. Вот вопрос сейчас ещё один будет, по поводу слюны ещё спросить хотел. Вот я на тебя плюнул, это только один раз и было, ты вытер, как сейчас вот вытер, и вот... тебе пахло чем-нибудь?

– Слюной, думаю, пахло.

– После того как вытер?

– После того как вытер, думаю, уже не пахло.

– А ты можешь, пожалуйста, вспомнить поточнее: пахло или не пахло?

– Ну сначала точно пахло.

– Сначала понятно, что пахло, а когда вытер?

– Ну наверное уже не пахло.

– Ты обещаешь, что не пахло?

– Ну, – Катасов для чего-то понюхал пальцы, – слушай, я не могу наверняка сказать.

– Блин. Это ситуация. Нам надо решить, потому что я тебя больше никогда не увижу и не спрошу, даже если ты вспомнишь. Давай в ВК добавимся, ты мне напишешь, когда вспомнишь? Я тебе сам напишу. Или подожди. Ты же не вспомнишь. Подожди, Катасов. Слушай, а можно мы проведём эксперимент?

– Что ты хочешь?

– Помнишь, Александр тогда сказал, чтобы я на тебя всегда плевал? Но в итоге не получилось, и мы решили, что будет как будто?

– Да, я помню. Ты ещё на себя тогда плюнул. Что ж ты не понюхал?

– Да-да-да, вот, я на себя тогда плюнул, а на тебя не плюнул. То есть один плевков, ну, одна слюна, она как бы штрафная.

– Почему штрафная?

– Потому что надо было на тебя плюнуть, а я не смог. Если бы я смог, то со второго раза ты бы уже точно запомнил, пахло или не пахло. Да и тогда много раз бы ещё было, ты бы точно запомнил. А так в принципе необязательно много, можно ещё один раз.

– В смысле?

– Ну чтобы я на тебя сейчас ещё один раз плюнул. Как в старые-добрые. Ты вытрешь-ся и скажешь, будет ли пахнуть.

– Влад, ты долбанутый?

– Да блин, ну это важно же. Ладно, я могу не плевать, но ты тогда скажи, пахло или нет? Ты будешь решающим свидетелем.

– Я не помню.

– Тогда придётся плевать. Да ладно, это же интересно. Приключение! Событие.

Не ясно, как Баранскому получилось так точно угадать слово, подобрать пароль, но Катасов усмотрел в этом знак. Он знал, что ему нельзя пропускать возможность взять

историю, а она тут уже была, почти приготовленная, только что без финала. Катасов чувствовал, что за историю он готов не только чтобы ему в лицо один раз плюнули, но чтобы ему в лицо десять раз плюнули, даже чтобы он в слюнях ещё десять дней ходил. Да даже если бы всё наоборот было, и это Баранский был бы тогда фашистом, а он, Катасов, безногим красноармейцем, и если бы Баранский ему сказал, что типа помнишь, у тебя ноги не было, давай мы для эксперимента тебе её отпилим, даже тогда, Катасов чувствовал, он бы согласился, чтобы для истории. Да это и вообще было бы большой удачей, он бы написал книгу про жизнь безногого, он бы описал всю половинчатость, которую чувствует в себе человек без ноги, как он знает особый магазин, где можно купить только один ботинок, как он хочет поиграть с детьми, а дети с ним поиграть не хотят, потому что дядя без ноги и это страшно, потому что они не понимают, что такое дядя без ноги. И, в общем, ещё много всего можно было бы придумать, будь он без ноги. А ещё любой из этих двух эпизодов можно было для названия использовать и назвать «Магазин одного ботинка», или назвать «Дядя без ноги», и то и то Катасову нравилось, можно было бы даже назвать «Магазин одного ботинка, или дядя без ноги». Но это всё, конечно, стало бы возможным, только если бы Баранский сейчас отрезал Катасову ногу, Катасов был честный человек, и оскорблять безногих людей своей лживой игрой в безногого не смел бы, они без ноги всегда, а он только когда хочет, сначала без ноги, потом с ногой, а на самом деле всегда с ногой, это было бы подло.

Несмотря на свою честность, Катасов считал правомерным этого выдуманного безногого приватизировать на роль второстепенного персонажа, и всё понять о безногом внешним взглядом, точнее не о всех, но о необходимых Катасову чувствах безногого понять. Как внешне увиденные, эти чувства могли, в понятиях Катасова, считаться истинными, как в случае того мужчины в поезде, который смотрел в окно. Да и тот, кто написал «Тучи над полями», того же мнения, похоже, был.

– Давай событие, – ответил Катасов после долгого молчания. Со стороны казалось, что он думает решаться или думает не решаться, но на самом деле он думал о безногом.

– Что, прям тут? Не ну давай отойдём куда-то. А то замёрзнет.

Катасов не понял, что может замёрзнуть, и, пока они отходили, всё удивлялся этому, потому что чувствовал мороз только на внутренностях, а никак не с улицы: была весна.

– Вот тут нормально будет, – остановился Баранский, – я тогда сидел, – Баранский сел на землю, – а ты тогда стоял, стой. Смотри, ты говорил мне что-то. Ты помнишь слова?

– Нет.

– Да блин. Лучше бы я в кого-то другого тогда плюнул. Ты не обижайся, но правда. Точно, вас же там двое было. Вот почему я в Стёпу не плюнул?

– Потому что у него слов не было. Он просто стоял.

– Точно, он же был типа лоховской фашист.

– Ну, не лоховской. Обычный. Слушай, Баранский, а ты не можешь просто плюнуть и пойти по своим делам? Зачем тебе этот спектакль разыгрывать? Тебя же там девушка ждёт вроде как.

– Нет, ты что, если она узнает, что я такой шанс упустил, она мне сама потом скажет, чтобы я обратно ехал, искал тебя. Ну ладно, могу и просто так плюнуть, – Баранский встал с земли.

– Да, давай просто так. Ты тем более промахнуться можешь, ты же всего один раз в жизни попадал. Давай поближе.

Баранский взял Катасова за левое плечо, чтобы тот не одёрнулся, передумав вдруг, когда слюна уже полетит. Катасов повернулся щекой, и ему сразу же перестало всё это нравиться, он бросился искать почву: надо было как-то вдохновиться ситуацией, да? Вроде бы ситуация уже необычная, вроде бы даже вдохновился уже, может и хватит, может так даже необычнее будет, да и на что тут вообще можно вдохновиться? Баранский замызгал губами, набирая слюну. В таких случаях можно по порядку всё написать, конечно. Приехал на вокзал, встретились, вспомнили, даже есть какая-то печать высшего в этом.

Слюне было лететь близко, и поэтому она совсем не растрепалась при полёте, а обильной, даже какой-то космической массой врезалась в щёку Катасова. Приземлившись, слюна сразу же обмякла и разложилась на поверхности. Катасов попробовал отмахнуться, как бы в припадке сперва ударил Баранского по лицу, потом спихнул его ладонь со своего плеча, только с третьей попытки попал по своей щеке, стряхнул слюну и тут же бросился бежать.

– Стой! – кричал Баранский, – ты забыл! Уговор!

Остальные слова Баранского были перехвачены дыханием: он побежал вслед за Катасовым, но уже не мог его нагнать. Катасов летел, превосходя возможности своего тела, как будто оно, слабое и опозоренное, должно было остаться позади, пустив душу дальше одну.

III

«И в чём тогда Дмитров? – думал Катасов, перейдя вдаль на шаг, – в чём сила Дмитрова? Что меня тут опустили? Оплевали. Да, раньше такого не было в Дмитрове. Дед любил плевать. Но дед не в меня плевался, он просто так, под ноги. Но Баранский и не отсюда, хотя тут живёт. Значит, через него и Дмитров не поймёшь. Да я его вообще не понимаю, Баранского не понимаю. Раньше проще с ним было, я на него кричал просто, мы как-то больше и не контактировали».

– Ну, это по роли в смысле, – пояснил Катасов вслух, – по роли кричал. Я кричал. Я кричать не люблю, я по роли. Я фашист. Я по роли фашист тогда, ну а так я нет.

По улице с Катасовым никто не шёл, и он мог свободно думать внешними словами, как в пустой комнате.

– Ну тихо. Тихо это не только тут. Дома тут. Ну вот ещё как будто я всё время вверх куда-то. Да это не то. Город слабый типа, что ли. Не видно силы такой большой. Ну он же маленький. Зря поехал. Только по лицу наплевали. И что мне теперь с этим. Чего я согласился-то... забыл. Нет, ну в смысле не забыл, я помню. Чего я забыл, я не забыл. Я чтобы событие. Только какое событие, когда наплевали. Наплевали. Наплевал, он один. Влад наплевал. Сука Влад. Не ожидал от Влада. Он уже плевал, конечно.

Катасову показалось, что ему на щёку села муха. Он смахнул её и ускорился, чтобы она не могла вернуться. Ещё у Катасова засох рот, и он закрыл его, да и как-то обидно ему было всё это говорить, поэтому он решил дальше думать мысленно. Мысленные думки были умнее, но слабее, то есть по ним можно было до чего-то дойти, но зато нельзя было ни в чём утвердиться. Чтобы утвердиться, надо было сказать вслух, то есть овеществить мысль в мире наружном, если она сказана, значит она есть, и значит она правдива, так

считал Катасов. А найти какую-то необидную мысль, в которой хотелось бы утвердиться, Катасов здесь пока не мог.

«Если я просто беру и перелагаю вот эту историю, что вот один другому предложил поплевать, второй согласился, чтобы поплевал, а потом тот ему поплевал и он убежал, ну всё круто типа да, но тогда нафиг я сюда ехал, в смысле что это вот это типа впечатление, а это совсем не когда что-то важное и большое понимаешь. Это какая-то рубрика “случай на вокзале случился”, а я что-то большое хотел, чтобы город, как Белый Петербург, только Дмитров какой-нибудь... Катасов. А ещё тогда непонятно, зачем мне было, чтобы на меня в конце плюнули, чтобы я побежал, что ли? Это неостроумно, я это и так придумал бы, без личного опыта. Я должен был что-то понять от того, что плюнули. А я понял только, что зря плюнули. Может, так и должно быть? Типа ирония. Типа всё бессмысленно. Ну да, это правильно. Смиренно».

Катасов остановился, достал телефон и попробовал написать. Вот что у него получилось:

Писатель Склярский приехал на вокзал и был растерян он знал что ему работать пора была он принялся искать кого-то и возник внезапно кто-то знакомый вполне из вполне незнакомого до лица вообще-то Склярский видел плохо был близорук и любил видеть больше чем мог мнить о себе больше чем мог чем было можно больше мнить о себе любил и хотел почаще встречать кого-то чтобы кто-то был с ним рядом знакомый типа чтобы в итоге было событие.

Ещё тут дело в памяти память Склярского была писательская Склярский не запоминал всё что событием не являлось оно из его головы выпадало куда-то.

Катасов устал, но ему было интересно, но надо было найти куда сесть, а лучше лечь, но лечь было некуда – проблемы экспансивного творчества.

Сесть нашлось рядом с какими-то пустыми фонтанчиками, Катасов продолжил:

Увиденный оказался Тасовым

(Катасов загуглил, что правда была фамилия Тасов. Он хотел, чтобы читатели думали, что он зашифровал себя в героя, который крутой и плевал, а не наоборот. На каком-то сайте писали, что «фамилия Тасов звучит гордо и мощно» (<https://alfacasting.ru/familii/istoriya-i-proisxozhdenie-familii-tasov-uznaite-kak-pravilno-sklonyat-v-odnoi-state?ysclid=lo0nknwvlf791079344>) – можете проверить, и ну вообще прочитать про фамилию Тасов, если вам интересно будет. Катасову было интересно, и он прочитал, что имя (???) Тасов является гордостью многих родов и народов, фамилия Тасов являлась уникальной и редкой, но теперь фамилия Тасов является частым выбором молодых родителей для своих детей (???) и в последнее время людей с фамилией Тасов становится всё больше. В самом низу, только для особенно преданных величию фамилии (даже Катасов до туда не добрался), было написано, что среди известных носителей фамилии Тасов можно назвать профессионального американского боксёра Майка Тасова.

Катасов так впечатлился этой статьёй, что захотел присоединиться к Тасовым, подержав их естественное пополнение своим менее естественным, но куда более осмыслен-

ным, и придумал себе псевдоним – К. Тасов, который звучал как Ка-Тасов. Впоследствии произошла редукция, и К. Тасова стали называть Катасовым. Эта новая, созданная волей людского языка, фамилия, ему так понравилась, что он установил её себе в паспорт и стал называться Катасовым. Вы бы хорошо его поняли, если бы были молодыми родителями, потому что тогда наверняка захотели бы дать своему ребёнку фамилию Катасов, даже в обход тренда на фамилию Тасов.

Да, раньше у Катасова была другая фамилия, и на момент описываемых событий тоже, но неспроста же он её потом поменял, значит, ему было бы неприятно запомниться под ней, и стоит это учитывать. Хватит того, что она действительно была похожа на фамилию Тасов, с тем только отличием, что больше походила на оскорбление или несмешную шутку, чем на фамилию. Итак, увиденный оказался Тасовым).

Увиденный оказался Тасовым а Тасов не то чтобы что-то а просто Тасов что был когда-то вместе со Склярским в спектакле играл фашиста плевал однажды единожды только раз

Катасов понял, что получается какая-то гладкая, глупая беговая дорожка, всё стёр, и пошёл заново. Вот что вышло:

Склярский приехал в город Дмитров ради новых впечатлений. Он жаждал их не просто как какой-нибудь праздный человек, впечатления составляли его пищу по позволительной причине – Склярский был писателем.

Далее было в том же духе, снова о писательской памяти, снова Тасов из театральной студии, и да, тут Тасов был фашистом, и при этом Тасов же плевал. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы читатели, которым Катасов когда-то рассказывал, что играл фашиста, вернее дошли до требуемого сопоставления. Диалог у Катасова получился точно живее и лаконичнее приведённого здесь, да и вообще у него как-то всё стройно вышло, например, без отступления о безногом. В конце Склярский, в которого плюнули, убежал быстрее, чем могло бы его тело, и заканчивался рассказ мыслью о душе. Вы можете видеть, что именно эта зарисовка в телефоне Катасова послужила основой для эпизода, помещённого в тексте выше.

Всё вышло стройно, но Катасову не понравилось. Всё казалось ему ложным, хоть и было написано по правде, и от того, что ложь вылезала не из ничего, а из правды, она была куда мерзее.

– Душа, душа. Конец надо другой. Не конец. Начало. Какое начало? Я не начало имел. Имел в виду то есть. Я про продолжение. Ну, это когда продолжается что-то. Надо чтобы продолжалось ещё. Надо поесть.

В отличие от сочинённого Катасовым писателя Склярского, пищу которого составляли события, сам Катасов, как бы ему там не хотелось, питался обычной едой, той же, которую едят все просто люди, а не писатели. Карты сказали, что ничего рядом нормального где поесть не было вообще, поэтому Катасов решил, что пойдёт он в недалеко отсюда монастырь и там поест монастырских пирожков. «И тело покормлю, и душу. Мир». Эта афористического характера мысль его добродушно рассмешила.

Катасов шёл и снова напряжённо ждал события. Ему даже захотелось в одну отчаянную минуту, чтобы из-за угла вышел Баранский, оставшийся в Дмитрове, потому что без разрешения слюнного вопроса его не приняла бы собственная девушка. Даже захотелось, чтобы Баранский снова предложил плюнуть, даже чтобы снова плюнул, даже не убежать в этот раз, а может, хотя бы выяснить, для чего это всё было так нужно. А что если наоборот-переворот, и сказать Баранскому, что Катасов сам в него плюнет, а тот сам понюхает? И обидно стало, что сразу до такого не получилось додуматься.

Но Баранского не появлялось, а вместо него оказались двое мужчин на конях, мужчины-памятник. Катасов знал, что это Борис и Глеб.

III

Что Катасова поначалу удивило в монастыре – это павлины. То есть он на территории нашёл павлинов. Павлины ходили внутри загона, а Катасов не знал, что такое бывает в монастырях. Он решил, что это, наверное, придумали, чтобы отражалось бессилие земного богатства не только в небе, но и на земле. То есть павлины же с такими красивыми и гордыми хвостами, но тут их посадили в загон, и вообще, это как если бы в монастыре держали в загоне плохих людей. Катасов рассудил, что лучше бы им просто хвосты отрезали и пустили погулять, они бы тогда всё ещё являли символ о том же, но уже более вдохновляющий. А павлины все действительно были с красивыми хвостами, самок почему-то не было.

Вторым после павлинов был мальчик. К мальчику ещё относились мама, священник, и парализованные мальчиковые ноги. Всё это видел Катасов ещё вместе с инвалидной коляской внутри храма, шёл какой-то тихий разговор между взрослыми, а мальчик смотрел на стены со святыми. Катасов же смотрел на мальчика, на его лицо, и понимал, что к нему не может подступиться, ему не может дать объяснения и встроить в себя, но не как Баранского, который просто бред, а как то, к чему храм подходил. Взрослые ушли куда-то, и Катасов с мальчиком остались совсем одни.

– Привет, – сказал мальчик.

– Привет, – ответил Катасов.

– Ты спросить хотел, – подсказал ему мальчик.

– Да, я хотел спросить, – вспомнил Катасов, – тебя вылечат? Они об этом говорят? Спасут святым духом? – Катасов не был религиозен, но сейчас испытывал что-то среднее между желанием дать надежду мальчику и желанием найти надежду для себя. Поэтому врал – от страха.

– Говорят об этом, но не вылечат. Меня вылечить нельзя.

– Нет, почему, откуда ты взял. Конечно, не святым духом, но врачи, медицина, сейчас можно, там нервные контакты какие-то восстановить. Нет ничего, что нельзя бы было.

– Есть. И ты не просто так боишься, потому что тебе тоже вылечиться нельзя. Но это на самом деле не страшно, а хорошо, потому что другое – можно.

Мама и священник вернулись.

– Вы вылечите, пожалуйста, вашего сына, – сказал им Катасов.

III

Найти квартиру Тубановых Катасову помогла мама. Он ей сказал через телефон, что поехал повидать окрестности, оказался в Дмитрове и теперь подумал – чего бы не зайти к родственникам. Ещё сказал, что монастырь красивый, и с павлинами. Уже был вечер.

Катасова гнало к дому тёти и дяди, потому что в нём проснулась необходимость поговорить с каким-нибудь нормальным человеком. Его давило ощущение главенства чужого над его сознанием, и когда Катасов пробовал подумать над всем, что на него свалилось, он выходил к тому, что пока его не было в Дмитрове столько лет, город, видимо, следил за ним и только его и ждал, чтобы посмеяться. В родственников Катасов верил, да и чувствовал, что пока ещё окончательно не отстрелялся, и лучше всё закрыть, чтобы больше сюда не вернуться.

– Костя, ты, что ли? Привет! Мы тебя ждали! – радостно встретил дядя Тубанов.

– Ну вообще-то не ждали, – услышал Катасов из квартиры тётю Лилию.

– Сначала не ждали, а потом уже ждали. Твоя мама сказала, что ты приехал. У нас там и есть кое-что, заходи.

Катасова стали кормить. Дядя Тубанов сел напротив него на кухне, и когда Катасов доел остатки тубановского ужина, сказал:

– Ну, рассказывай.

– Ой, дядь Паш, ну, ничего интересного, давайте лучше вы рассказывайте.

– Я рассказать всегда готов, ты знаешь. О, вот тебе, слушай, случай для писателя. Ты же писатель? Ты писатель. Слушай случай для писателя. Что было. Выхожу я сегодня, с машиной копаюсь, и тут другая машина, которая рядом припаркована, ауди а семь, соседа такого, он ещё бритый всегда, ну ты не знаешь, его машина такая: «ба-бах!». Я отскочил, испугался, думаю: что такое? А я рано встаю, это пять утра где-то было. А пять утра это всегда тишина такая, то есть даже если где-то ворона каркает, то очень слышно, а тут такой звук, ну ты понял, даже я испугался. Это вот обязательно надо, что контраст, тишина и ба-бах, ну не совсем ба-бах как взрыв какой-то, но такой, бабахующий звук, в общем. И что ты думаешь? Я вижу: земля. На асфальте земля, такими комками, на машине, а крыша машины уже всё, уже тю-тю, внутрь вогнулась, и земля везде рассыпана: это первое, что я увидел, что земля. И тут что-то летит сверху, и опять на машину на эту, туда же, и опять звук, и земля опять разлетается, ещё шире площадь. Это очень страшно было! Но я понял, что то, что сверху летело, что это горшок с каким-то деревом и что до этого тоже, значит, горшок был, потому что земля из него. Ну я думаю: третьего раза не будет. Но там ещё моя машина же рядом стоит, надо увезти её от греха подальше, а если я сяду внутрь, а на неё горшок прилетит, то я сразу того, и ситуация, да: что делать? Тут, знаешь, в таком, не юмористическом плане, а очень серьёзном и трагедийном можно, что человеку вообще-то совсем непонятно, что делать, потому что – риск, потому что – имущество, потому что – жизнь, потому что – необъяснимое что-то. Потому что горшки сверху не летают обычно, но тут главное, чтобы не юмор, абсурд какой-то, потому что тогда будет ха-ха и забыли, а это совсем не про ха-ха история, а про человека история, про отчаяние. Но этот момент тоже важный, вот мой именно ракурс, что мне страшно и я на волоске, и выбор надо делать. Ну и, – дядя Тубанов посмеялся, – ну ладно, тут всё-таки смешно на самом деле вышло, вот немножко смешного есть, потому что, пока я думал, что делать, всё и решилось. Ну то есть всё, стало понятно, что всё, что ничего больше не полетит.

– Как стало понятно? – перебил Катасов.

– Да вот как-то просто понятно стало. Вот такое чувство бывает, если какая-то опасность, когда тебя всего прошивает, то есть ты весь как бы сливаешься с тем, что происходит, с тем, что вокруг, и как бы ты орган какой-то, что ли, один из органов, а что в одном органе – то в другом органе отдаётся, отдача. И я вот как-то так и почувствовал, что всё. И так оно и оказалось, что всё закончилось, и я выбрался, ну то есть просто вышел, ещё думаю, что да, конечно, отремонтировать машину теперь придётся, соседу-то, а это у-у. В общем, и что ты думаешь? Это же ещё не было самого интересного. Это же пока всё ещё абсурд, хоть и с таким страхом, но страхом, который заканчивается – пш – и нету, вот так заканчивается, и ничего из него, а почему оно так, а потому что не туда смотрели, потому что герой главный – другой герой на самом деле, потому что не я, я просто рассказываю, понимаешь, я рассказчик, а тут есть главный герой ещё, в этой истории. В общем, оказалось, что горшки не просто так падали. Потом оказалось, вот только недавно сказали нам, что сосед наш по дому, другой, ещё сосед, в общем, была у него грустная история, я не очень знаю, но какой-то крах, какое-то отчаяние его настигло. Он в результате этого отчаяния выпил, выпил сильно, очень сильно, где-то ещё далеко отсюда выпил, и приехал домой. И ему так зло стало, так отчаянно, что – вот тебе должно быть это близко, я думаю, потому что что за фантазия творческая у человека. Горшки с деревьями, которые у нас тут внизу стояли, он начал относить в лифт. Ты понимаешь, это не какой-то импульс, не вот что когда разозлился и ударил, это методично, это отчаянно, как я уже сказал, ну ты так много раз не повторяй, если будешь писать, то есть извини, это твоё дело, но, в общем, это как план злого гения, но только тут не то, тут как, как закапывать самого себя лопатой, по горстке земли бросать, на самого себя. А горшки, ты представляешь ещё, какие они тяжёлые? Их вдвоём только поднять можно, вот он два отнёс и устал, наверное, и поехал, поехал на крышу, поднял их на крышу, поднял эти тяжёлые горшки на крышу, и ведь шёл к своей цели, не останавливался, не передумал, это только большая воля, а как это выдуманно, это вообще никто никогда так не придумает. Я восхищён, как ты понимаешь. И вот он начал их сбрасывать. Это, опять же, какую силу в себе надо было найти, и – какой творческий акт. Ведь это вот оно самое, выброс эмоций, разрушительный, потому что это выброс отчаяния из души, вот как я это вижу, потому что в его теле не было силы столько, чтобы выразить то, как он страдал. А я видел, как он на самом деле страдал, ты понимаешь, я лучше всех видел, я тебе сказал, что я как орган был, так я правда как орган был, ты понимаешь, я как будто в его душе самой побывал, в которой такой удар, и такой крах, и земля повсюду разлетается. И теперь ему компенсацию выплачивать. Они там как-то договорились, что он ремонт оплатит, какие-то издержки простоя. Хорошо, что договорились. А это потому что сосед на ауди, ну который пока не на ауди будет, хотя ему машину разнесли, он тоже понимает, что это творческий акт, у нас всегда глубокое уважение к искусству было во всех массах. Такая вот история, такое вот могу тебе рассказать.

– Дядя Паша, мне это не близко, – Катасов давно обиделся, но хотел пронести обиду до конца, чтобы дядя Тубанов понял, что это дело серьёзное, а не просто импульсивная реакция, – дядя Паша, я пьяных не люблю. И я не буду про пьяных. И мне не близко, когда у тебя эмоция, и ты считаешь, что этого достаточно для того, чтобы был, как вы говорите, творческий акт. Потому что нужна мысль, нужно обоснование, нужно, чтобы продуманность была. А такие творческие акты вы вот поэтам оставьте, потому что скинуть горшок, написать стишок – это всё в их стиле. Можно ещё насрать просто.

– Ты понимаешь, что с человеком было вообще? – дядя Тубанов стал серьёзным, и даже как будто злым, чего Катасов от него не ждал, – что может быть важнее, чем когда ты падаешь на самое дно, когда ничего у тебя не остаётся, и когда ты находишь какую-то фантастическую совершенно, нереальную, выдуманную, самому себе нафантазированную бредятину, и за неё, себя за волосы, вытаскиваешь обратно к жизни? Что, твои мысли важнее? А твои мысли, они, извиняюсь, о чём? Нет, ты прости, но твои мысли – они о чём? Они случайно не о том же самом, что этот горшок? Потому что если они не о том же самом, то зачем они тогда вообще нужны? Потому что со всем остальным я и без твоих мыслей разберусь, извини, но разберусь. А с этим могу и не разобраться.

III

Катасова положили на диване, потому что было уже поздно, хотя уехать ещё можно было. Катасов констатировал, что не побывал ни в одном месте из тех, которые видал с дедушкой и бабушкой, что ничего не понял про силу Дмитрова, что было много всего неприятного. Но под одеялом было тепло, он наконец-то лежал, и это держало его в приличительном спокойствии.

«Интересно так рассуждать, конечно. Ну, его не переспоришь, всё свой взгляд, но это он сам экспонат тогда. Может, и Баранский искусство сделал, когда на меня наплевал? Да, то самое откровение дяди, тайное знание. Тайное знание, что всё это не надо и что ничего в этом и нет, крутое знание. И мальчик тоже – тебя не вылечишь. Это он тоже про это, тоже об этом сказал. Может и правы они все. Вот я пытаюсь писать, и ничего не получается. Можно другое. Другое что-то можно, а что можно? Много дел конечно в мире есть. Вон дядя Тубанов на работе работает. А что если и я буду просто на работе. Ему вроде бы неплохо. Нет, может я пока просто маленький ещё, невзрослый, вот ничего и не знаю. Я думал, поеду – напишу. Да я же написал. Нет, это не я написал, без моего участия, там ничего такого, чтобы от меня. Правда, у меня же даже ещё не было ситуаций таких, как дядя Тубанов говорил, когда на дне и отчаяние, когда ты хватаешься. Может когда будут, тогда и пойму, что что-то написал. Точнее, что напишу что-то, что могу. Я же ругаюсь, мне не нравится, когда что-то плохое пишут. Я говорю, ну говорю, думаю, я думаю, что лучше бы не писал ты, зачем ты пишешь, ничего не получается, плохо, это плохо, это позорно, это нельзя. Да, вот это как раз-таки нельзя. Мальчик говорил, что какие-то вещи нельзя. Вот плохо писать – нельзя. Вот ходить с парализованными ногами тоже нельзя. И у меня парализовано, может, что-то, как дядя Тубанов орган если, то разные органы какие-то бывают, вот у меня парализован орган тот, который чтобы писать. И вылечить нельзя. И что я, из-за этого плохой какой-то? Можно другое. Мне же главное, чтобы дело было. Вот моё дело – писать, вот я стараюсь, вот я даже поехал, вот в меня плюнули даже, вот ну вообще всё, всё, всё, а всё равно нельзя, значит, что не моё дело, просто не моё. Если я всем говорю, когда они плохо пишут, что не пишете больше, значит и себе так говорю – не пиши больше. И это честно, что не пиши больше, если не можешь. Я всех людей уважаю. Люди занимаются своими делами, то есть я уважаю тех, кто хорошо делает то, что умеет, потому что много дел полезных. И себя тоже могу уважать, смогу, если буду делать что-то другое, но хорошо».

Катасов вскочил и подошёл к подоконнику. Он посмотрел в окно: было невысоко, и поэтому он видел землю, много земли, ещё деревья, асфальт, другие дома, фонарь видел. На подоконнике стоял цветочный горшок.

– Смешно. Блин, ну это смешно. Я бам. Я ба-бах. Ну а чё, ему нравится. Кому? Ну дяде нравится. Ну ему понравилось, ему акт. Акт не театр, акт ну типа действия, когда сделал. Ну я не буду. Я вот не творец.

Катасов вернулся в кровать.

«Ну я наверное буду пробовать ещё. Я же в Лите учусь, мне надо тем более. И почему так, что там горшок, и тут горшок тоже. Или мыло. Какое хорошее было мыло. Горшок, мыло. Просто горшок. Вот горшок. Что-то должно, ну пожалуйста, горшок, ну может, взять правда дядино про горшок? Но я хочу своё про горшок. Да и как к дядиному подступиться, он просто это рассказал, как историю, как история интересно, но тут не выстроишь. Буду строителем. Буду строителем, буду класть кирпич, буду строить дома. Или буду садовником и буду растения растить. Тем более это тоже творчество, хитрое. А если я сейчас украду этот горшок и убегу. Вот просто схвачу его и просто вот оденусь ничего не скажу, уйду, уеду? И с горшком. Или на дядину машину горшок сбросить? Вот же работает у меня фантазия, так, вот можно сейчас не делать ничего, можно, чтобы не плевали, это можно. И после этого можно и текст, вот и конец. Да конец там и так был, там начала не было. Да чего я жалуясь, я же должен уметь, там придумал, там взял, там подвёл, там туда, всё по-правдивому получилось по итогу. Ну вот, я и не умею, значит. Ну вот, и всё и просто. Да ведь это не страшно, потому что есть другое. Другое мне надо. А это не надо мне. Нужно принимать уметь. Что вот если чего-то не можешь, то значит не можешь, значит, что нет у тебя способности. Я же не могу быть теннисным чуваком, например. Ну вот и писателем тоже. Это нормально. Со своей неспособностью нужно соглашаться. Мальчик – согласился. Да, он согласился. Да, мальчик согласился. Он согласился с неспособностью. Я его расшифровал, я получил. Вот, это он, это он большой. Это вот из него всё тут растёт. Это вот весь Дмитров про это, это, это мне весь Дмитров говорит, что неспособность, что согласиться надо. Не зря учился, всё расшифровал, всё сложилось вместе. Я сюда приехал, и мне говорят – зря приехал. То есть не зря, но приехал, чтобы узнать, что зря приехал.»

– Я не способен, – сказал Катасов вслух, шёпотом, – это хорошо. Ничего плохого нет. Я не способен, и главное, что я честно знаю и не притворяюсь. Я честно не способен. Главное же честным быть? Да. Я принимаю это. Я всё равно хороший, даже когда неспособен. И я не буду дальше пытаться, всё. Я это понял. Мне это сказали. Я считал.

«Надо написать про это. Это если всё это вместе так складывается, что одно, другое, и вывод. Можно всё подряд так и рассказать. И в конце – я не способен. И в начале – я не способен, и везде, я никогда не способен, и я не способен. И это не стыдно. И вот это написать, описать, хоть как, ну не хоть как, я постараюсь, и всё. И даже понравится всем, но я покажу, что видите, что тут в конце, тут в конце вы что, не поняли, вы, пожалуйста, прочитайте тогда ещё раз, тут в конце, что это всё, что я не способен. Последняя моя мысль, вот такая моя мысль, дядя, Баранский, мальчик, вот читайте мою мысль, да, такая мысль, и все по ней живите, потому что она самая правильная, я тут без иронии, мысль: принимайте свою неспособность. Но пока я ещё писатель, вот это я напишу, что я не писатель. И это последнее будет. А потом я пойду куда-то, куда-то в другое дело. Всё, так сразу и начну, что приехал в Дмитров, ну вот всё по порядку, даже, даже с мыла начну. Вообще

довольно много получится, повесть получится. Вот дядя Тубанов сказал – дно отчаяния. И что выбираешься со дна отчаяния. А я не буду ниоткуда выбираться. Я тут буду сидеть. Буду сидеть на дне отчаяния. И тут мне и место. И ничего плохого».

Дальше ещё у Катасова были мысли, но в основном всё крутил по кругу, поэтому хватит, довольно провёл времени без присмотра. Уснул поздно, снилось непонятно что, точнее будет, даже ничего, никакую отгадку во сне ему не повезло увидеть. Поутру разбудили, накормили и отправили.

– Привет. А ты где был? – спросил у Катасова сосед Коля, когда тот вошёл в комнату.

– Я? Ну смотри. Ты помнишь про мыло?

– Помню.

– В общем, какая там была ситуация на самом деле с мылом. Оно растаяло. То есть оно превратилось во много маленьких кусочков. Ну то есть не просто мыло, как вот куском, а такая мыльная жидкость, и там вот кусочки плавают. Ты понимаешь, о чём я?

– Ну да, понимаю. Такое вообще часто бывает.

– В смысле?

– Ну да. Постоянно. Постоянно мыло размокает и плавает, если там мокро.

– Какое постоянно? Я никогда не видел. Мне кажется, ты что-то путаешь, не может такое быть постоянно. Это только один раз такое.

– Да нет, постоянно. Это ты уже что-то сам себе нафантазировал.

Катасов прошёл в комнату, сел на кровать, и сказал: «Понятно». А про себя подумал: «Нет. Это только один раз».